

THE SUBJECT OF NATIONAL EXISTENCE AND AUTHORS PERSONALITY

GALINA SHCHETININA

CANDIDATE OF PHILOLOGICAL SCIENCES,
KUBAN STATE UNIVERSITY, SLAVYANSK-ON-KUBAN, RF

RUSSIA

MISS-GALYA-GALINKA@YANDEX.RU

ABSTRACT: THE DIRECTIONS OF TERMS "ETHNICAL" AND "NATIONAL" ARE INTERRELATED, BUT NOT ALWAYS IS REALIZED THE FACT THAT THEY DON'T COMPLETELY COINCIDE IN THEIR COMPREHENSIVE CONTENTS AND CAN'T BE REPLACED BY EACH OTHER. IT IS IMPORTANT TO DIFFERENTIATE METHODOLOGICALLY AND TO SPECIFY CONCEPT'S RANGE UNDER THE SYSTEM-HOLISTIC VIEW OF THE PROBLEM OF ARTISTIC PRESENTATION OF THE NATIONAL DIVERSITY.

KEYWORDS: ETHNICAL, NATIONAL, NATIONAL IDEA, DIASPORA, PROBLEM

Выделение "этнического", "национального" и "общечеловеческого" достаточно условно: речь, разумеется, не может идти о параллелизме или сосуществовании автономных сфер, тем более бинарной оппозиции. Понятно, что решающим остается принцип взаимодополнения, сопринадлежности, корреляции идеи и формы ее воплощения как условия внутренней организации и цельности повествования. Без того, что Г.Винокур точно называл "взаиморефлексией", невозможна кристаллизация ценностно-смыслового поля произведения. Наглядность, прозрачность разграничения призвана подчеркнуть остроту невторостепенной, на наш взгляд, проблемы, обозначить методологически злободневную тенденцию.

И второе. Когда мы говорим об актуальности нынешней реконструкции историко-культурного процесса, восполнении его объема и – шире – восстановлении памяти национальной культуры, то предполагаем прежде и раньше всего полноту восприятия текста на микро- и макроуровне, целостность взгляда на разомкнутое единство произведения с учетом в равной степени многомерности контекста и многозначности художественной организации текста. Вечный предмет литературоведческого внимания – проблема национального своеобразия – опосредован, обусловлен этой многозначностью, эстетически мотивирован, сопричастен целостности художественного смысла.

Понятно, что сфера "этнического" и "национального" внутренне интегрированы, взаимообусловлены, но не всегда четко осознается тот факт, что они полностью не совпадают в своих содержательных объемах и не могут быть взаимозаменяемы. Методологически важно дифференцировать, уточнить границы понятий в рамках системно-целостного подхода к проблеме художественного воплощения национального своеобразия.

Сегодня в атмосфере нарастающего этноцентризма все чаще этническая доминанта расшифровывается как высшая позитивная ценность, как авторитетная установка, определяющая особенности нового культурного и художественного стиля.

Апелляция к энергетике этничности как организующему центру и логическому фокусу национальной культуры оборачивается восприятием "национального" как перманентного воспроизводства "этнического".

Осмысление проблемы национального своеобразия в литературе сквозь призму этнической специфики сужает поле исследования. Отметим, различая уровни ее восприятия, что магия и статика этнографического, архаичных пластов, фиксированность, повторяемость культурных стереотипов, экзотическая декоративность орнамента обозначают уровень первичный или непреднамеренный. Уровень высший, осознанный связан с выходом за пределы орнаментальной рамки, когда национальное самоопределяется в истории как динамическая ценность. В работе "Нация и человечество", опубликованной в 1934 году в журнале "Новый град", С.Н. Булгаков особо выделяет этот момент: "Главенство духа в национальном сознании ведет к тому, что нация воспринимается не только как данность или факт, но и как творческая задача и долг. Национальное начало должно всегда находиться в творческом напряжении, подобно духу, и лишь в таком образе оно оправдывает свое существование и является творчески плодотворно, – не есть фетиш или идол, но живая психея"¹.

Если мир произведения – мир становящийся, то в движении от "текста" к "художественной ценности", в динамике развертывания смысла различимы уровни воплощения национального. Когда-то Н.В. Гоголь четко сформулировал существо классической оппозиции: "Не в описании сарафана, но в самом духе народа"². Сейчас мы понимаем, что "дух" не исключает "сарафана", но взыскует меры этого описания. Поучительно вспомнить и гоголевскую отповедь тем "всесветным преобразователям", которые не умеют "отличать жизненных особенностей, никогда не уступаемых народом, от тех, с которыми он может расстаться, не уничтожая себя как народ"³. Сквозь эмблематическую стабильность "сарафана" подлинная литература прозревает задачи "духа", отстаивая вневременную содержательность "никогда не уступаемых" ценностей и потому улавливая глубинный ток национального бытия.

Созидание художественной ценности предполагает не только отражение, трансляцию, но и воплощение в слове отношения к национальному, процесс осмысления-переосмысления. Творческая природа авторского видения выявляется в сфере отношения, которое может быть многовариантным – аналитическим, как, например, в романах А.Евтыха, или эмоционально-экспрессивным, как в "Моем Дагестане" Р.Гамзатова, где эстетизируется кодекс национальной этики, где художественная версия национальной историософии формируется на основе причудливого, неожиданного сплава были и небыли, факта и вымысла. Поэтизация и даже идеализация национальной идеи несут в себе черты субъективно-психологического обыгрывания ценностных установок, в совокупности образующих мир национальной самобытности.

В любом случае важен этот виток спирали, открывающий в национальном систему ценностных ориентации, преодоление того, что М. Бахтин называл "внеэстетической определенностью", когда рассматривал произведение как "новое бытийное образование", "своеобразное эстетическое бытие"⁴. Анализ национального своеобразия становится сущностной характеристикой произведения, если интерпретация учитывает взаимосогласие уровней на основе их трансформации. В этом случае национальное своеобразие выступает как явление поэтики, как категория художественного сознания, закодированная в целостности произведения.

Отход от этого принципа в критике и литературоведении Северного Кавказа – может быть, этот вывод не лишен общезначимости – оборачивается новой нормативностью, исподволь подменяющей стремление к адекватной эстетической реакции.

Расширительное толкование этнического как синонима национального, попытки редуцировать сложность национального до однозначности этнического, неразличение или немотивированная подмена понятий предопределяют, на наш взгляд, уже заметное отклонение от истины исследовательского зрения, создавая концептуальную ловушку. Только на первый взгляд подобный релятивизм понятий может показаться несущественным и даже напоминающим внешне многозначительный, но, по сути, пустой спор остроконечников и тупоконечников о принципах разбивания яиц в бессмертной книге Д. Свифта.

Проблема национального своеобразия осмысляется не столько как проблема художественного своеобразия, сколько как актуализация этнической специфики, локализация этнически преломленного самобытного мира. Эвристическая ценность такого подхода незначительна, ибо процесс восприятия и понимания исчерпывается извлечением этнокорня как всеобъемлющего критерия ценности произведения.

Сама ситуация перечтения в русле этнического своеобразия стимулирует новые возможности анализа, но там, где оно становится самоцельным, приобретает приоритетное значение, пространство эстетически ориентированного подхода до предела сужается. Дело ограничивается как бы маркировкой текста, при которой вывод об этнической идентичности в состоянии оправдать его художественную несостоятельность. Более того, складывается определенный "горизонт ожидания" и степень удаления или приближения к нему формирует оценку произведения. Следствие такой акцентировки – сужение подхода, понижение уровня понимания художественной целостности, отчуждение от эстетических критериев, оценочный произвол, расщепление образа, выветривание его художественного смысла. Предпосылки подобного вектора анализа коренятся в современной активизации этноцентристского мышления.

Уместно вспомнить известное письмо Л. Толстого Н. Страхову (1876): мысль страшно понижается, когда берется одна из того лабиринта сцепления, в котором находится. Изъятая из сферы целостности, из сцепления, страшно пониженная, мысль о приоритете этнической специфики дает эффект односторонней ангажированности, несовместимой с идеей самоценности художественного текста, с тем, что И. Кант называл незаинтересованностью эстетического суждения.

Долгие годы нивелировки этнического фактора не могли не дать бурной компенсаторной реакции. В долгожданном процессе растабуирования национальной истории и культуры отчетливо наметился закономерный сдвиг – перенос акцента на сущностный смысл этноцентризма, что совпало с возникшей на волне критики ложного интернационализма идеологизированной этничностью и усилением этнократии. Потребность в самоидентификации чрезвычайно обострилась в постперестроечной ситуации общественного и культурного шока, резкой смены вех, мировоззренческого кризиса (многие ученые идут дальше в своем диагнозе, предпочитая говорить об антропологической катастрофе). Резкое понижение в статусе стимулировало самоощущение исторического аутсайдера, защитную реакцию, психологию обиды (напомню, что Н. Бердяев отличал рабскую этику обиды от свободной этики вины и ответственности).

С одной стороны, это умонастроение сопровождают провалы в архаизацию, явные признаки регрессии, инволюции, когда барьеры отчуждения и стены недоверия жестко заявили о себе на развалинах "сверхнационального" государства. С другой – мучительные попытки выработать язык, адекватный новой реальности, нащупать новую культурную парадигму, одним из проявлений которой и стал ностальгический, подчас нарочито стилизованный этнизм.

Литературоведческая мера актуализации этнического фактора исключает элементы преувеличения его значения, эталонности, тем более программной установки или даже новой идеологемы. Не стоит забывать и о том, что характер литературного материала диктует степень корректировки. Понятно, когда В. Жирмунский характеризует поэтику А. Веселовского как историко-этнографическую, обращенную к генезису, зарождению поэтических форм, родов, сюжетов, к процессу вычленения их из первобытного синкретизма, который невозможно понять без обращения ко всему комплексу этнографических сведений. Совсем другое дело – литература нового времени, которую отличают принципиально иные соотношения. Приведем один пример. Засилье дежурной формулы "знаток народных обычаев", сыгравшей роль универсальной отмычки ко всем произведениям А. Абу-Бакара, воспринимается или как сомнительный комплимент, или как скрытая форма критики. Факт обращения к обрядово-ритуальному, легендарному слою был достаточным основанием оценки, ставился в неоспоримую заслугу, делая как бы излишним разговор о собственно художественной стороне дела. Между тем лучшие произведения прозаика заслуживали более содержательного подхода. Ему удалось раскрыть непреходящий смысл устойчивых, архаических норм поведения, ритуала, этикета и, следовательно, мышления, и именно обращение к притче, легенде становилось генератором жгучесовременных раздумий, предпосылкой перспективного разговора о судьбах национальной традиции в ее соотнесенности с традиционализмом, о "мертвом" и "живом" в наследии.

Выделяя "регулятивную функцию этикета адыгов" как основу преемственности и устойчивости национальной культуры, Ю. Тхагазитов отмечает, что "последний в процессе тысячелетнего формирования обретает сущность и функции философии бытия"⁵.

Философия национального бытия, осознанная в эстетическом контексте, обнаруживает черты самоценности и исторической подвижности. В последние годы появились произведения, в которых образ национальной действительности поверяется всеобщностью фундаментальных ценностей: романы Х. Алиева "Батырай", Д. Ахубы "Кто бросит камень", повесть М. Дугричилова "Последний газават", трилогия М. Кандура "Кавказ", ряд новомировских публикаций ("И будет лето" А. Черчесова, "Опустел наш сад" И. Оганова, "Судьба Чу-Якуба" Д. Зантария).

Энергетика непрерывной национальной традиции вовлекает художественное слово в сферу глубинных ценностных ориентации. Мысль пробивается к ядру, субстанции национального бытия. Писатель стремится мыслить как бы изначально, из глубины историко-культурной памяти, актуализируя мифопоэтические структуры. Прошлое воспринимается не столько как фон или завершённый этап, сколько как движущая духовная сила, обостряющая чувство родословной народа (особенно примечательны в этом смысле романы Б. Шинкубы).

Болезненно переживается драма насильственного отлучения от корней. Изгнание из родных пределов в романе ингушского прозаика С. Чахкиева "Золотые столбы"

сопоставимо с погружением в ад. Целый народ на скамье подсудимых – чудовищная, фантазмагорическая реальность. В романе слепой Исрапил не выдержал, пошел по рельсам в сторону, как ему казалось, родины и погиб под колесами поезда, унося с собой мечту о возвращении домой. Вызовом нечеловеческим обстоятельствам звучит обжигающая правда стихов замечательного карачаевского поэта И. Семенова, который разделил со своим народом тернистый путь изгнания. Изреченное слово становилось поступком, смятение и отчаяние отступали перед волей к самосохранению. Обреченный на немоту, упадок, распыление, народ явил пример духовного здоровья и сосредоточенности в поэзии И. Семенова.

Этих лет кровавые слезы высохнут,
Даст аллах – сыновья вырастут,
Запоешь ты, как прежде, в своих горах,
Мой бедный народ, мой израненный Карачай!
Умершим пожелав райского жилища,
Живым – счастливой жизненной дороги,
Я говорю, плача, блистая слезами:

"Затяни орайду, мой израненный Карачай!"

(Подстроч. перев. с карачаевского Чекалова П.К.)

Содержательный повод для разговора о художественной реализации национального, о сопряжении искомым уровням дают романы адыгейского прозаика А. Евтыха. Если о его ранних вещах немало написано, то художественный потенциал последних романов целенаправлено не осмыслен ("Глоток родниковой воды", "Баржа", "Шуба из двенадцати овчин"). Перед нами художник редкой внутренней последовательности, концептуально мыслящий о судьбах народа на путях-перепутьях времени. Перечитывая А. Евтыха, невольно думаешь о несостоятельности модного тезиса о фатальной неполноценности литературы советского периода.

Произведения А. Евтыха при внешней соотнесенности с проблематикой историко-революционного романа не укладываются в его рамки, свободны от присущих этой жанровой разновидности открытой тенденциозности, априорной расстановки идейных акцентов, охранительного пафоса. Они скорее полемически противостоят ему своим отказом от эстетически бесплодной, "простой, как мычание" схемы, от политиканствующего морализаторства, от утрированной прямолинейности, своим стремлением взглянуть в коллизии "национального" и "социального", "личностного" и "коллективного".

С небывалой для литератур Северного Кавказа остротой А. Евтых ставит вопрос о надындивидуальных ценностях, не подверженных социальной конъюнктуре, о метафизике национального бытия. Процессуальность, текучесть, подвижность, открытость как константы национального мира при естественном удержании эмпирики, параметров этнонациональной специфики, без самодовлеющей наивности этнографического натурализма, одномерного бытописательства – вот содержательный стержень романов А. Евтыха, предопределяющий масштаб и качество художественного анализа.

Одну из глав своего исследования А. Тойнби выразительно назвал "Раскол в душе". Это не столько метафора, сколько категория, призванная обозначить внутреннюю проекцию, человеческое преломление эпохи перелома, перехода, кардинальной смены привычных ориентиров. "В период распада общества, – пишет историк, – каждый вызов встречает в душах людей прямо противоположный отклик – от

абсолютной пассивности до крайних форм активности. Выбор между активной и пассивной реакциями – единственный свободный выбор, оставленный Душе, утратившей возможность (но, разумеется, не способность) творческого действия"⁶.

Герои А. Евтыха сознают свою связь с традиционной системой ценностей и в то же время, подверженные революционной фразе, жестким требованиям социального времени, они мучительно переживают раскол в душе, ищут спасительное равновесие между неотвратимостью социальных перемен, исключившей возможность "творческого действия", и потребностью сохранить нравственные устои, саму органику национальной жизни.

За чувством приобщения человека к "восстанию масс", агрессивному большинству, коллективному радикализму писатель чутко улавливает болезнь личной безответственности, неготовность воспринимать импульсы внутренней свободы, голос совести. Превращенный в почти зомбированное существо человек уходит от трезвого самоопроса, привыкает ссылаться на анонимную волю революции как высшую инстанцию. Прозаик настаивает на том, что в любой ситуации остается место для ответственного выбора. В центре внимания стенограмма духовного прозрения героя, рост его самосознания. Более всего романиста интересует то состояние человеческого бытия и духа, которое М. Бахтин в работе "К философии поступка" точно характеризует как "не-алиби в бытии", обусловленное "участным мышлением", "ответственно поступающим мышлением"⁷.

В полифоническом разворачивании точек зрения, в диалоге сознаний, различных ценностных предпочтений улавливаешь не только то, что можно назвать работой национального самосознания, но и его открытость переменам, большим вопросам, которые и сегодня продолжают звучать актуально.

У А. Евтыха логика продвижения, динамика перехода от первичного, как сказано в начале, к вторичному, или высшему, уровню лишает этнонациональное значения и напряжения монополярной нормы, заметно расширяя смысловое пространство текста. Можно говорить об этнонациональной доминанте, но не беллетристическом этноцентризме, в системе координат которого национальная самокритика не предусматривается...

Национальная идея заявляет о себе в литературе как личностно выстраданная, как акт открытия и прозрения, прорастает в движении текста, а не привносится как готовая к употреблению, как тезис или монополярная идейная установка. Именно этот подход определил атмосферу книги Р. Гамзатова "Мой Дагестан", обеспечил полифонический разворот темы личностного и национального самоопределения. Писатель проходит по лезвию бритвы, в равной степени избегая национального самомнения и национального самоуничтожения – этих, как говорил В. Ключевский в речи "Памяти А. С. Пушкина", "суррогатов народного самосознания"⁸. И дальше: "Надобно добиваться настоящего блага, истинного самосознания без участия столь сомнительных побуждений"⁹.

Воспроизведение культурно-исторического лада национальной жизни, достоверность этнопсихологического рисунка не замыкаются в рамках самодовлеющего этнографизма. Сосредоточенность на воссоздании того, что И. Гердер называл "особой мерой" каждого народа, органически сопрягается с потребностью в диалоге с человечеством, открытостью миру, когда "звезда Дагестана" и "колокол Хиросимы" естественно дополняют друг друга в одном духовном пространстве.

"Все дороги земли приведут к Дагестану, все дороги любви мне напомнят о нем..."¹⁰ Как совместить с подобным заверением, в искренности которого нет

оснований сомневаться, не менее настойчиво повторяемое в разных вариациях утверждение: "Мир теперь умещается в сердце моем, он во мне весь как есть – от позора до славы"?¹⁰ Ответ на этот вопрос получил развернутую оркестровку в "Моем Дагестане", и сводится он к следующему: чем глубже познаешь свое, тем ближе становишься к другому, чужому; чем сильнее творческая воля к самостоятельности и непохожести, тем острее встает извечный для культуры вопрос о связи "родного" и "вселенского". Только глубина познания национального гарантирует приобщение к общечеловеческим ценностям, и только она делает возможными специфику без изоляции, уединенность без одиночества. Диалектика понимания проблемы в "Моем Дагестане" такова, что впервые в истории дагестанской литературы чувство человечества становится реальным и сильным человеческим чувством.

Архитектонику и внутреннее единство "Моего Дагестана" образует динамика перехода от статики этнографического слоя, от избыточной орнаментальности к открытию всеобщности особенного. Этнонациональное – первоисточник и живой фермент творческого усилия, но отчетливо различаешь виток спирали, взаимообусловленность поэтизации кодекса национальной этики и многозначности мысли, вбирающей в себя трагическую двойственность века ("Мы – дети века, стыд нам и позор" и тут же: "Мы – дети века, честь нам и хвала")¹⁰.

Успех "Моего Дагестана" не в последнюю очередь был преопределен тем, что книга полемически противостояла явлению, на которое современная критика почти не обращала внимание. Речь идет о так называемой промежуточной литературе – литературе "бездомья", неукоренной, свободной от программной задачи национального самоопределения, не познавшей груз традиции, делающей ставку на технику письма, прием, навык, но так и не приобщившейся к европейской, условно говоря, традиции при всех претензиях на раскованность и свободу от провинциализма. Если эта литература и апеллировала к национальному, то только ради соблюдения "местного колорита", подменяя субстанцию орнаментом и тем самым обнаруживая свою онтологическую недостаточность.

Конфликт коренного, сущностного и отвлеченного, умозрительного, духовного "дома" и бездуховного "бездомья" так или иначе, сказывался на атмосфере литературных исканий, формируя разнонаправленные векторы ценностных приоритетов. "Мой Дагестан" оказался в эпицентре ситуации, воспринятый как выразительная и весомая реплика в литературном споре. В книге речь шла не только о базисных ценностях национального бытия и об идее самоценности национального сознания, которые, безусловно, отстаивает поэт. В системе ценностных координат "Моего Дагестана" определяющей становится мысль о том, что личность, не укоренная в национальном, обречена на духовное одиночество, а национальное, не преображенное личностным отношением к миру, отторгается от требований гуманизма. За призывом к тому, чтобы "не был малым человек, принадлежащий к малому народу"¹⁰, находишь действенное, активное, а не отрешенно-созерцательное отношение к человеку, который не может и не должен позволять себе быть "малым". В той системе ценностей, которую утверждает поэт, "малость" прочитывается как опознавательный знак духовной незрелости, измелчания души и в то же время как вызов предназначению человека, высоте его духа, помимо и вне которой разговор об этническом и национальном теряет смысл...

REFERENCES

1. **Bulgakov, S.N., 1993:** Булгаков 1993 : Булгаков С.Н. Сочинения: Т. 2. М.: Просвещение, 1993– 650 с.
2. **Vinogradov, I.A., 1937:** Виноградов 1937: Виноградов И.А. Борьба за стиль. Л.: 1937. – 121 с.
3. **Anenkov, P.V., Gogol, N.V., 1989:** Анненков 1989 : Анненков П.В. Н.В. Гоголь в Риме летом 1841 года // Литературные воспоминания. М. 1989. – 69 с.
4. **Bahtin, M.M., 1975:** Бахтин 1975: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.:1975. – 49, 50 с.
5. **Thagazitov, Yu., 1994:** Тхагазитов Ю. Духовно-культурные основы кабардинской литературы. – Нальчик, 1994. – 16 с.
6. **Toynby, A.J., 1991:** Тойнби А.Дж. Постыжение истории. М.:1991. – 358 с.
7. **Bahtin, M.M., 1986:** Бахтин 1986 : Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. – М., 1986. – 115 с.
8. **Kaloev, B.A., 1993:** Калоев Б.А. Скотоводство народов Северного Кавказа. М., 1993. – 263 с.
9. **Klyuchevskiy, V., 1990:** Ключевский В. Исторические портреты. М.: 1990. – 400 с.
10. **Chemso, G., 2000:** Чемсо Г. Возвращение: Исторический очерк. Майкоп: Адыгея, 2000. – 274 с.